

ВЕРА ТЁМНАЯ

ОПИСЬ ДЕВЯТИ НОЧЕЙ



ДОЛГ ПОЛУНОЧИ · КНИГА ПЕРВАЯ

18+

Вера Тёмная

Опись девяти ночей

«Автор»

2026

Тёмная В.

Опись девяти ночей / В. Тёмная — «Автор», 2026

У Ясны девять ночей. Девять комнат. Девять пунктов в описи. Она оценщица Долговой гильдии и приехала в усадьбу на реке Вдовице считать чужое имущество. Работа как работа: описать, заверить печатью, уйти. Только дом показывает ей по одной комнате за ночь, а вместо мебели в них лежат люди — те, кто когда-то заложил себя в счёт долга и остался без тени. Среди них — её мать. А в описи, составленной задолго до её рождения, уже значится её собственное имя. Хозяин дома не стареет триста лет, называет её «госпожа оценщица» и делает всё, чтобы она уехала до полуночи девятого дня. Если она закончит опись — дом станет собственностью гильдии, а он перестанет существовать. Ясна начинает считать.

Содержание

ПРОЛОГ	5
ГЛАВА 1	8
ГЛАВА 2	12
ГЛАВА 3	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Опись девяти ночей

ПРОЛОГ

Он шёл по дороге к усадьбе и не мог вспомнить, как его зовут.

Не от волнения. Волнение он бы понял: перед таким делом руки дрожат у всех. Это было другое. Он подходил к своему имени так, как подходят к полке, на которой должна стоять книга, — и нащупывал пустое место. Ровные края. Пыль. Всё, что осталось.

Он попробовал ещё раз, медленно, как учил в детстве учитель Лаврентий: отчество помнил, деревню помнил, реку помнил, даже то, как Лаврентий ставил ему палочки за косой нажим, — помнил. А там, где должно было быть имя, лежала гладкая, ничем не нарушенная тишина.

Так бывает с домом, из которого вынесли всё. Стены стоят. Жить нельзя.

Он остановился у обочины, поставил сундучок на землю и аккуратно, по складам, произнёс вслух всё, что о себе знал.

— Писарь, — сказал он. — Двадцать три года. Сирота. Учился на гильдейские деньги. — Он подождал. — Должник.

Последнее слово отозвалось в груди теплом, почти благодарностью: это слово осталось. Его-то не забрали.

Он поднял сундучок и пошёл дальше.

Дорога кончилась у моста.

Мост был о девяти пролётах, чёрный от воды, и доски его скрипели так, будто под ними кто-то ворочался. За мостом, на взгорке, стояла усадьба. Окна в ней не горели — в отличие от того, что он видел потом, триста лет, каждую ночь, — и дом казался просто большим, старым и очень нежилым.

На крыльце его ждали.

Человек в длинном тёмном сюртуке сидел на ступенях, положив руки на колени, и смотрел на дорогу. Лицо у него было стёртое — не старое, а именно стёртое, как монета, которую слишком долго носили в одном кармане. Рядом на ступеньке стоял дорожный узел.

— Вы новый, — сказал человек. Не спросил. Сказал.

— Писарь, — ответил он. — Из Вересня.

— Знаю. — Человек поднялся, и оказалось, что он выше, чем казалось сидя. — Я восьмой. То есть был восьмым. Теперь, значит, вы.

— А вы?

— А я ухожу. — Человек посмотрел на узел так, будто не был уверен, что имеет право его поднять. — Тридцать лет. Я пришёл сюда в вашем возрасте и думал, что это служба. Это не служба, молодой человек. Это должность.

Он не понял разницы и постеснялся переспросить.

— Пройдёте, — сказал восьмой. — Пока светло. Правила лучше слушать при свете.

Внутри дом оказался больше, чем снаружи, и он отметил это машинально, как отмечал всё: площадь прихожей, высоту потолков, число дверей. Дверей было одиннадцать.

— Считать не надо, — сказал восьмой. — Счёт тут не держится.

— Я писарь. Я всё считаю.

— Знаю, — сказал восьмой во второй раз, и в голосе у него впервые что-то дрогнуло. — Именно поэтому они вас и прислали.

Они прошли через прихожую в комнату, которая могла бы быть кабинетом, если бы из неё убрали всё, кроме стола. На столе лежала книга в кожаном переплёте, чернильница, перо и песочница. Больше ничего. Ни полок, ни картин, ни пыли.

— Опись, — сказал восьмой. — Ведётся с самого начала. Каждый смотритель вписывает то, что дом принимает в залог. Не вы выбираете, что сюда попадает, запомните. Выбирает дом. Вы только пишете.

— А если написать неверно?

Восьмой посмотрел на него долго и внимательно.

— Вот это, — сказал он, — хороший вопрос. За тридцать лет мне его никто не задал. —

Он помолчал. — Не знаю. Проверять не советую.

Он сел за стол, потому что стоять рядом с этим человеком было почему-то трудно.

— Сколько длится срок? — спросил он.

— Пока не закончится опись.

— А она когда закончится?

Восьмой усмехнулся. Усмешка у него вышла совсем беззвучная.

— Она, молодой человек, не заканчивается. Она пополняется.

— Тогда в чём смысл?

— В том, чтобы дом не брал живых, — сказал восьмой ровно. — Каждую ночь он берёт одну строку из описи. Если строк нет — берёт того, кто в доме. Поэтому вы пишете. Понимаете?

Он не понимал ничего. Но он кивнул, потому что был писарем, а писари кивают, когда им диктуют.

— И ещё одно, — сказал восьмой. — Ночью не открывайте дверей, которые открываются сами. И не отвечайте, если позовут по имени. — Он подумал и добавил: — Особенно если позовут по имени. У вас, кстати, какое?

Он открыл рот.

И не издал ни звука.

Восьмой смотрел на него, и лицо его менялось — медленно, как меняется лицо человека, который вдруг понял, кого именно впустил в дом.

— Господи, — сказал восьмой тихо. — Они прислали уже заложенного.

Контракт лежал в описи последним листом.

Он был составлен безупречно — так составляют только те, кто делает это не первую сотню лет: ни одного лишнего слова, ни одной лазейки, каждая строка выверена. Он читал его дважды, потому что первая половина была о том, что дом получает, а вторая — о том, что получает он, и вторая половина была неприлично щедрой.

Долг списывался. Весь. До последнего гроша.

— Здесь ошибка, — сказал он.

— Где?

— В возмездии. — Он провёл пальцем по строке. — Сторона вторая обязуется содержать дом в описи. А что обязуется сторона первая?

— Сторона первая, — сказал восьмой, — обязуется не трогать живых, пока опись ведётся.

— Это не возмездие. Это условие.

Восьмой посмотрел на него с чем-то вроде уважения.

— Вы хороший писарь, — сказал он. — Жаль.

Он не спросил, почему жаль. Он думал о ста сорока ригелях, о процентах, которые росли быстрее, чем он успевал переписывать чужие долговые книги, и о том, что в семь лет он остался один и ему сказали: учись, за тебя заплачено.

За него заплатили. Он знал, чем.

Он просто не знал, что платить пришлось ему самому.

— Перо, — сказал он.

Он подписывал медленно, потому что так подписывают то, что читают.

Дошёл до последней строки: «Владелец».

И остановился.

Перо висело над бумагой, и с него уже начала собираться капля — тяжёлая, чёрная, глянцева. Он смотрел на пустую строку и ждал, когда в голове всплывёт то, что должно в неё лечь. Не всплывало ничего. Он напрягся так, что заболело под глазами. Он попробовал написать первую букву — любую, лишь бы начать, — и рука не послушалась: не дрогнула, не соскользнула, а просто встала, как встает лошадь перед пропастью.

Капля сорвалась.

Чернильное пятно легло на строку «Владелец» — ровное, круглое, без единого брызга, будто его поставили нарочно и очень аккуратно.

В комнате стало тихо так, что он услышал, как за стеной оседает дом.

— Вы не можете не подписать, — сказал восьмой. Голос у него был глухой. — Вы уже поставили.

— Я поставил пятно.

— Вы поставили подпись, — сказал восьмой. — Дом не разбирает почерков. Он разбирает намерения.

И тогда дом заговорил.

Не голосом. Голосов он потом наслушался за триста лет — дом умел говорить чужими голосами, особенно теми, которых уже нет. В первый раз он сказал иначе: чернила в чернильнице поднялись и встали столбом, и в воздухе над столом на секунду повисло то, что можно было бы прочитать, если бы он умел читать такое.

Он не умел. Но он был писарь, и он понял главное: это была формулировка. Короткая, вежливая, юридически безупречная.

Пункт принят.

— Что оно сказала? — спросил он шёпотом.

— Что вы приняты, — сказал восьмой. Он уже стоял в дверях с узлом в руке и не собирался возвращаться. — И что теперь вас будут звать иначе.

— Как?

Восьмой пожал плечами.

— Спросите у дома.

Он остался один в кабинете, перед описью, в которой стояло его пятно, и спросил вслух, потому что больше спрашивать было некого:

— Как меня зовут?

И дом ответил.

Он не смог бы потом пересказать, как именно, — но в голове у него оказалось слово, которого там раньше не было: короткое, твёрдое, чужое, как чужое пальто с чужого плеча. Оно село на него идеально. Оно не жало.

Он произнёс его вслух, чтобы проверить, и слово послушалось.

Потом он раскрыл опись на первой чистой странице, обмакнул перо и вывел вверху, аккуратно, с правильным нажимом, как учил Лаврентий:

«Смотритель девятый. Имя служебное: Корвин».

Дом принял его и назвал Корвином.

Больше его никто и никогда не звал никак.

ГЛАВА 1

В богадельню Святой Улиты пускали по вторникам и пятницам, с третьего часа пополудни до пяти. Ясна приходила в половине третьего и стояла у ворот, пока сторож дожёвывал хлеб. Так было заведено восемь лет, и за восемь лет сторож ни разу не открыл раньше.

Она не спорила. Спорить с людьми, у которых есть ключ, — дорогое удовольствие. Ясна знала цену всему на свете; это входило в её обязанности.

Внутри пахло известкой, шами и тем особым сладковатым теплом, которое исходит от тел, давно переставших чего-либо хотеть. Вдоль стены на лавках сидели одиннадцать женщин и трое мужчин. Все в одинаковых серых рубашках, все одинаково спокойные.

Мать сидела четвёртой от окна.

— Здравствуйте, Настасья Егоровна, — сказала Ясна.

Мать подняла голову. Движение было ровным, без усилия, как у куклы, которую потянули за нитку. Лицо у неё было знакомое до последней морщинки — и при этом чужое. Так бывает с домом, из которого вынесли всю мебель: стены стоят, а жить нельзя.

Глаза у Настасьи Егоровны были светло-серые, внимательные и пустые. Как две монеты, положенные на стол ребром.

— Я принесла вам напёрсток, — сказала Ясна и положила серебряный колпачок ей в ладонь. — Он ваш. Смотрите, тут вмятина с левой стороны, вы его уронили, когда мне было шесть. Помните?

Мать посмотрела на напёрсток. Повернула его в пальцах. Положила на колени.

— Благодарю, — сказала она вежливым голосом чужого человека.

Ясна посчитала до десяти. Счёт всегда помогал: пока считаешь, лицо держится.

Она доставала мать из этого дома раз в четыре дня, приносила напёрсток, гребень, иногда пряник, который та не ела, и каждый раз задавала один и тот же вопрос — разными словами, чтобы не звучало как допрос. Ответа не было восемь лет. Ясна давно перестала ждать ответа. Она приходила, потому что в долговой книге под её фамилией стояла сумма, и в этой сумме был учтён каждый вторник и каждая пятница.

Её мать не умерла. Это было хуже, и это стоило дороже.

Когда Ясна выходила обратно на улицу, пошёл дождь — мелкий, злой, весенний. Она подняла воротник и пошла вдоль Вдовицы к гильдейскому кварталу, разминая в кулаке мокрую бумагу: расписку за очередной взнос. До полного погашения оставалось сто сорок ригелей и двенадцать грошей. Она знала эту цифру наизусть, как знают молитву. Восемь лет назад долг был в одиннадцать раз больше.

Она выплатит его. Она выплатит его, даже если для этого придётся описать весь мир по частям и продать с торгов.

Долговая гильдия помещалась в бывшем монастыре, и это казалось Ясне удачной шуткой: те же своды, те же послушники в тёмном, те же обеты, только бога теперь звали Проценты.

В приёмной былолюдно и тихо. Люди, пришедшие закладывать, сидят тихо.

— Оценщик Приходько, — сказал секретарь, не поднимая глаз. — К хозяину. Немедленно.

У Ясны неприятно сжалось под рёбрами. К хозяину вызывали по двум причинам: либо ты что-то украл, либо тебе хотят дать то, от чего нельзя отказаться.

Кабинет Савелия Мора был единственным помещением в гильдии, где топили в апреле. Хозяин сидел за столом такой ширины, что на нём можно было бы разложить человека в полный рост, — и, глядя на Савелия Мора, Ясна легко верила, что когда-то именно так и делали. Он был стар, сух и безупречно одет; от него пахло сургучом и старой бумагой. Говорил он негромко, и ради этого негромкого голоса люди наклонялись через весь стол.

— Садитесь, госпожа Приходько.

Она села.

— Вы оценщик третьей ступени. Семь лет службы, ни одного оспоренного заключения, ни одной жалобы. — Он перевернул лист. — При этом все семь лет вы описываете сараи.

— Сараи, амбары, две мельницы и лодочный сарай, — согласилась Ясна. — Имущество невысокой сложности.

— Вы скромничаете. — Мор улыбнулся так, будто сделал ей одолжение. — Вам скучно.

— Мне не скучно, господин хозяин. Мне хватает.

Он посмотрел на неё в упор, и Ясна поймала себя на том, что перестала дышать. У Савелия Мора были очень светлые, почти белёсые глаза человека, который за сорок лет прочитал больше договоров, чем все остальные жители Вересня вместе взятые.

— Есть усадьба, — сказал он. — Полночный Дом, в урочище Полуношники, на левом берегу. Задолжала гильдии сумму, которую я не стану называть вслух, чтобы вас не смущать. Срок погашения истёк. Имущество подлежит описи.

— Пришлите оценщика первой ступени.

— Я посылаю вас.

— Почему?

Мор выдержал паузу ровно настолько, чтобы она успела пожалеть о вопросе.

— Потому что, госпожа Приходько, за сто шестьдесят лет гильдия посылала туда семей. Шестеро вернулись. Один вернулся не весь. — Он придвинул к ней папку. — Мне нужен человек, который считает, а не думает. Вы считаете очень хорошо.

Ясна положила ладонь на папку и не стала её открывать. Пальцы у неё были в чернилах — она так и не отмылась с утра, — и на безымянном темнело пятно, которое не сходило уже четвёртый год.

— Условия, — сказала она.

— Девять ночей. Дом отчуждается в полночь девятых суток; до тех пор вы описываете всё, что в нём есть. Жить будете там же. Прислуга в доме имеется. — Мор чуть наклонил голову. — Вознаграждение — двести ригелей по завершении и сто двадцать за каждый пункт описи, заверенный вашей печатью.

Ясна не изменилась в лице. Она тренировалась этому восемь лет.

Двести плюс сто двадцать за пункт. Сто сорок ригелей и двенадцать грошей — ровно столько оставалось до конца её долга.

— Это много, — сказала она ровно.

— Это справедливо.

— Это подозрительно.

Впервые за весь разговор Савелий Мор перестал быть вежливым. Это длилось долю мгновения — так темнеет вода, когда над ней проносят лампу, — и Ясна запомнила это выражение на всю оставшуюся жизнь.

— Подпишите, — сказал он.

Она вышла из кабинета с папкой под мышкой и только в коридоре позволила себе приклониться спиной к холодному камню.

Сто сорок ригелей. Двенадцать грошей. Восемь лет по вторникам и пятницам, сторож, дожёвывающий хлеб, вежливое «благодарю» чужим голосом.

Она знала, что это ловушка. Она умела читать договоры лучше большинства людей в этом здании и видела ловушки там, где их ещё не было.

Она подписала, потому что ловушка стоила сто сорок ригелей.

В приёмной, уже надевая пальто, она машинально раскрыла блокнот и вписала в список расходов строку: «переправа, лодочник, 4 гроша». Перо скрипнуло. Ясна взглянула на написанное — и поправила: четвёрка вышла кривой, с оборванным хвостом.

Она провела поверх неё заново, аккуратно.

Под пальцами бумага едва заметно нагрелась.

Ясна замерла, не дыша, и медленно обвела взглядом приёмную: секретарь писал, проситель плакал в платок, сторож у дверей смотрел в окно. Никто не смотрел на неё. Никогда никто не смотрел на неё.

Она закрыла блокнот, сунула его в сумку и вышла под дождь, старательно думая о чём-нибудь скучном. О сараях. О мельницах. О том, как правильно учитывать износ дранки на кровле.

Она держалась так одиннадцать лет, и ещё немного потерпит.

До Полуношников было восемнадцать вёрст, и добрую половину этого пути Ясна прошла пешком, потому что извозчик отказался ехать дальше моста, а лодочник — раньше моста.

Река Вдовица была неширокой и мелкой; весной её можно было перейти вброд по колено. Мост из девяти пролётов стоял над ней так, будто строили его не для людей, а для чего-то гораздо более длинного. Доски почернели от воды, перила местами отсутствовали.

Лодочник — сухой старик с одним ухом — ждал у берега, сидя в лодке и глядя мимо Ясны.

— На тот берег? — спросил он.

— В Полночный Дом.

Он наконец посмотрел на неё. Взгляд у него был такой же, как у матери, — только в нём ещё осталось сочувствие.

— Барышня, — сказал он. — Сегодня среда.

— Мне это ни о чём не говорит.

— По средам оттуда не возвращаются. — Он сплюнул в воду. — Я вас перевезу, вы не подумайте, я за деньги всё сделаю. Только обратно в четверг не зовите. И в пятницу не зовите. Зовите в субботу, если живой останетесь.

— Очень ободряюще.

— Я честный.

Она села в лодку. Старик оттолкнулся, и берег поехал в сторону.

Вода под ними была чёрная, хотя на поверхности ещё лежал серый дневной свет. Ясна смотрела вниз и видела собственное отражение — тонкое, бледное, в мокром воротнике, — и на секунду ей показалось, что отражение посмотрело на неё раньше, чем она на него.

Она отвела глаза.

«Сарай, — подумала она отчётливо. — Двускатная кровля, дранка, износ сорок процентов».

Когда лодка ткнулась носом в левый берег, начало темнеть.

Усадьба стояла в трёхстах шагах от воды, на взгорке, и была видна вся сразу — потому что в ней горели окна. Все. Двенадцать окон на втором этаже, девять на первом, слуховое окно под крышей, фонарь над крыльцом. Дом светился в сумерках, как поставленный на стол фонарь.

Ясна посмотрела на него и сделала то, что делала всегда на новом объекте: начала считать.

Окон — двадцать два. Этажей — два плюс мансарда. Кровля — железо, старое, но целое. Фундамент — камень, кладка ровная. Хозяйственных построек — четыре: конюшня, ледник, флигель, нечто вроде оранжереи. Забор отсутствует, что для усадьбы такого размера странно. Дороги нет — есть направление, по которому когда-то ездили.

Она посчитала всё это меньше чем за минуту, и ей стало легче. Мир, который можно посчитать, уже не так страшен.

Она сошла на берег, взяла сумку с бланками и печатями и пошла вверх по склону.

Трава здесь была по щиколотку, мокрая и тёплая, хотя апрель в Поречье не бывает тёплым. Пахло полынью, хотя полынь цветёт в июле. Из-под крыльца, не торопясь, вышла огром-

ная чёрная собака, посмотрела на Ясну и вернулась обратно, будто решила, что это не стоит усилий.

Ясна поднялась на крыльцо. Подняла руку, чтобы постучать.

Дверь открылась сама — не распахнулась, а медленно подалась внутрь, как будто её долго и аккуратно тянули за невидимую нитку.

За дверью был холл, чёрно-белый кафель, лестница и двадцать две свечи, зажжённые все разом.

И человек.

Он стоял у лестницы, вполоборота, в длинном тёмном сюртуке, который носили лет сто назад, и держал в руке незажжённую свечу. Высокий, тонкий, с лицом, которое Ясна не смогла оценить ни на какой возраст — тридцать и триста одновременно. Волосы тёмные, зачёсанные назад; на правой скуле шрам, старый и ровный, как проведённый по линейке.

Он посмотрел на неё сверху вниз. Очень спокойно. Так смотрят на вещь, которую уже оценили и решили не покупать.

— Оценщик Приходько, — сказал он. Голос у него был низкий и ровный, без интонаций, будто он читал вслух чужой договор. — Долговая гильдия. Опись имущества. Девять ночей.

— Вы хорошо информированы.

— Я информирован полностью. — Он сделал шаг вперёд, и свечи за его спиной погасли — не все, а через одну, начиная от окна. — У вас, госпожа оценщица, есть выбор. В договоре имеется пункт девятый, примечание второе: оценщик вправе отказаться от выезда, если сочтёт объект небезопасным. Я полагаю, вы его ещё не читали.

Ясна стояла на пороге, и дождь капал ей за воротник.

Она подумала о стороже, дожёвывающем хлеб. О одиннадцати женщинах на лавке в серых рубашках. О ста сорока ригелях и двенадцати грошах.

И она вошла.

— Пункт девятый, примечание второе, — сказала она. — Читаю наизусть: «...если сочтёт объект небезопасным, уведомив об этом гильдию письменно в течение трёх суток». — Она сняла мокрое пальто и аккуратно повесила его на крючок. — Трое суток, господин хозяин. Письмо отсюда идёт четверо. К тому времени как гильдия получит мой отказ, срок описи уже истечёт, а я останусь виновной в срыве. Это не пункт о безопасности. Это пункт о том, чтобы я подписала признание в собственной глупости.

В холле стало очень тихо.

Свечи не загорелись обратно.

Человек у лестницы посмотрел на неё впервые за весь разговор по-настоящему — не как на вещь, а как на что-то, чего в его расчётах не было.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Ясна Приходько. Оценщик третьей ступени.

— Хорошо, — сказал он. — Тогда начнём. Вы опоздали на триста лет, госпожа Приходько. Но это поправимо.

ГЛАВА 2

Кухня в Полночном Доме оказалась единственным помещением, где пахло по-человечески.

Пахло щами, печным углём и мышами. На плите стоял чугунок, у окна висели пучки трав, а на столе, под чистой тряпкой, дожидалась нарезанная краюха. Ясна отметила всё это автоматически и тут же поймала себя на том, что считает: печь русская, одна; окон два; дверей три; выход во двор — через сени.

— Считаете? — спросил человек у лестницы.

Он не ушёл за ней. Он стоял в дверях, всё с той же незажжённой свечой в руке, и смотрел, как она осматривается.

— Профессиональная привычка, — сказала Ясна.

— Здесь она вам не поможет. — Он положил свечу на стол. — Дом не даёт себя посчитать.

— Всё можно посчитать. Вопрос времени.

— Вот именно, — сказал он. — Вопрос времени.

И вышел.

Ясна постояла ещё немного, прислушиваясь к шагам на лестнице, а потом сделала то, что делала всегда, оказавшись на незнакомом объекте: обошла всё, что могла обойти, и записала.

Первый этаж поддался легко.

Столовая — длинная, на двадцать четыре прибора, все приборы на месте, пыль лежит ровно, значит, не пользовались годами. Гостиная — диван, два кресла, камин, в камине зола. Библиотека — вот здесь Ясна задержалась: полки шли в три яруса, книг было много, и она машинально прошла вдоль них пальцем, читая корешки. Долговые книги. Судебники. Три тома «Наставления оценщику». Полный свод гильдейских уставов за двести лет.

Никакой художественной литературы. Ни одной.

Она вытащила «Наставление», раскрыла наугад — и замерла.

На полях, уборым канцелярским почерком, было написано: «Статья четырнадцатая. Враньё. Проверено 1781 года». Ниже, другим почерком, короче: «Статья верна, но неприменима. Проверено 1849». Ниже третьим, совсем мелким: «Применима, если знать, к кому. Проверено 1911».

Три почерка. Три поколения людей, которые сидели в этом доме и спорили с учебником на полях.

Ясна поставила книгу на место очень аккуратно.

Второй этаж не поддался вообще.

Лестница кончалась площадкой, от которой шёл коридор с двенадцатью дверями. Ясна дошла до первой, взялась за ручку — и дверь открылась сама. Легко, без усилия, гостеприимно.

За ней была спальня. Кровать, комод, окно. Всё как надо.

Ясна не вошла.

Она вспомнила, как входная дверь подалась внутрь сама, едва она подняла руку, чтобы постучать, и у неё неприятно похолодело под лопатками. Она закрыла дверь — та поддалась с неохотой — и пошла дальше.

Вторая дверь не открылась. Третья открылась, и за ней была та же спальня, зеркально. Четвёртая не открылась. Пятая открылась, и там была та же спальня.

Ясна обошла все двенадцать.

Открылись семь. За семью была одна и та же комната.

Она вернулась на площадку, достала блокнот и записала: «Второй этаж. Помещений — 12 по плану. Помещений фактически — 1. Остальные — повтор». Подумала и приписала: «Не облагается. Не оценивается. Уйти до темноты».

Она не знала, почему написала последнее. Но написала.

Марфа нашлась на кухне.

Была она нестарая и не старая, широкая, с руками по локоть в муке, и говорила так, будто между словами у неё стояли запятые из железа.

— Садитесь, — сказала она, кивнув на лавку. — Щи сейчас. Вы худая.

— Я в порядке.

— Все вы в порядке. — Марфа поставила перед ней миску. — Шестеро было в порядке. Садитесь, сказала.

Ясна села.

— Шестеро кого?

— Оценщиков. — Марфа вытерла руки о передник. — До вас семеро приезжало. Шестеро уехали. Один уехал не весь, но это, считай, тоже уехал.

Ясна отложила ложку.

— И вы считаете, что мне надо знать это до того, как я начала работать, а не после.

— Я считаю, что вам надо поесть. — Марфа села напротив и подпёрла щёку кулаком. — Хозяин вам ничего не расскажет. Он вообще ничего не рассказывает, он бумаги читает. Так что слушайте меня, барышня, потому что больше тут говорить некому, кроме дома, а дом говорить умеет, только слушать его не надо.

— Хорошо, — сказала Ясна. — Я слушаю.

Марфа посмотрела на неё с некоторым удивлением, будто ей предложили то, чего она давно не слышала.

— Первое. Ночью не открывайте дверей, которые открываются сами.

— Я заметила, что они тут все открываются сами.

— Значит, вы уже заметили больше, чем второй. — Марфа не улыбнулась. — Второе. Если дом вас где-то запер — сидите, где запер. До рассвета. Не ломайте, не кричите, не ищите вторую дверь. Второй двери не будет.

— А если будет?

— Тогда не открывайте её.

Ясна посмотрела на свои руки — в чернилах, с несходящим пятном на безымянном, — и подумала, что восемь лет назад она сидела точно так же в приёмной у гильдейского стряпчего и слушала, на каких условиях выкуплен её долг. Условия тогда тоже были с двойным дном. Она их подписала, потому что не подписать было нельзя.

— Третье, — сказала Марфа.

— Слушаю.

— Не отвечайте, если позовут по имени.

За окном начало темнеть.

Он ждал её в кабинете.

Кабинет был единственный настоящий в этом доме: стол, чернильница, песочница, свеча и ничего лишнего. На столе лежала папка — её папка, та самая, которую она везла из Вересня и которую, она готова была поклясться, не выпускала из рук.

— Вы рылись в моих вещах, — сказала Ясна.

— Я их перенёс, — сказал он. — Вы оставили их в прихожей.

— Я оставила их у себя на глазах.

— Значит, дом их взял у вас с глаз. — Он не повысил голоса. — Садитесь, госпожа оценщица. Поговорим о том, что вы будете описывать.

Ясна села.

— Начну с простого. Сколько комнат в доме?

— Одна.

Она ждала продолжения. Продолжения не было.

— Я насчитала двенадцать наверху и четыре внизу, — сказала она. — Плюс хозяйственные постройки.

— Вы насчитали то, что дом показал. — Он сел напротив, положив перед собой ладони плоско, как человек, который собирается диктовать. — Комната будет одна в ночь. Та, которую дом выберет. В ней будет имущество. Вы его опишете. Утром комната закроется до следующего раза.

— А если я не успею?

— Успеете. Дом не показывает того, что нельзя описать за ночь.

Ясна открыла папку и вынула свои бланки — серые, гильдейские, с графами «наименование», «состояние», «оценка», «примечание». Она разложила их веером по столу, выровняла по краю и только потом подняла глаза.

— Теперь скажите, что это за имущество.

В кабинете стало тихо.

Свеча между ними горела ровно, без миганий, и Ясна поймала себя на том, что смотрит на пламя, потому что смотреть на него было легче, чем на человека напротив.

— Госпожа Приходько, — сказал он. — Вы подписали договор, не прочитав его.

— Я прочитала.

— Вы прочитали приложение о вознаграждении.

Она не ответила, потому что это была правда, и оба это знали.

— В предмете договора, — продолжал он тем же ровным голосом, — указано: «имущество движимое и недвижимое, а равно всё, что признано таковым сторонами». Вы не спросили, что признано. — Он чуть наклонил голову. — Я предлагаю вам спросить сейчас.

— Хорошо, — сказала Ясна. — Что признано?

Он посмотрел на неё в упор. У него были тёмные глаза, почти чёрные при свече, и в них не было ни угрозы, ни насмешки — только очень старое, очень спокойное терпение.

— Люди, — сказал он.

Тишина после этого слова была такой, что Ясна услышала, как в кухне Марфа ставит чугунок на плиту.

— Поясните, — сказала она. Собственный голос показался ей чужим и слишком ровным.

— В доме хранится имущество, заложенное в счёт долга, — сказал он. — Имущество это — человеческие тени. Люди, заложившие себя, живут в Вересне и окрестностях; они едят, работают и не помнят, кто они. Их тени лежат здесь. — Он сделал паузу. — Вы будете описывать тени, госпожа оценщица. Одна тень — один пункт описи. Девять ночей.

Ясна сидела очень прямо.

В голове у неё, как всегда в минуту, когда надо было не чувствовать, а считать, включилось то, что включалось всегда.

Пустоглазые. Одиннадцать женщин и трое мужчин на лавке в богадельне Святой Улиты, в серых рубашках, спокойные, сытые, не помнящие себя. Она ходила туда восемь лет, приносила напёрсток и гребень и задавала один и тот же вопрос разными словами.

Ей говорили, что это болезнь.

Ей говорили, что так бывает после горя.

Ей говорили — и это говорил сам стряпчий, глядя в бумагу, — что состояние её матери необратимо и не является предметом спора.

— Сколько их в доме? — спросила она.

— Восемь.

— Восемь пунктов, — сказала Ясна. — Вознаграждение сто двадцать ригелей за пункт. Двести по завершении. — Она подняла на него глаза. — Итого тысяча сто шестьдесят. Вы в курсе, что это больше, чем стоит весь ваш дом вместе с оранжереей?

— В курсе.

— Тогда вы понимаете, что я не уеду.

Он молчал.

— Вы понимаете, — сказала Ясна, — что гильдия платит такие деньги не за восемь строк в бланке. Вы понимаете, что меня прислали сюда не описывать. Меня прислали сюда, чтобы я чего-то не заметила. — Она придвинула к себе бланки и выровняла их ещё раз, аккуратно, по линейке. — А я замечаю всё. Это моя работа.

— Знаю, — сказал он.

И в первый раз за вечер в его ровном канцелярском голосе что-то сдвинулось — не теплота, нет; скорее так скрипит дверь, которую долго не открывали.

— Именно поэтому я и просил вас уехать.

За окном ударили часы.

Ясна вздрогнула — часы в доме она не видела, — и посмотрела на окно, за которым было уже совсем черно. Ударило двенадцать раз. Ровно, неторопливо, как отсчитывают положенное.

— Полночь, — сказал он, и встал.

И в ту же секунду в кабинете стало нечем дышать.

Не потому, что исчез воздух. Воздух остался. Исчезло ощущение, что дом пуст: за стеной, в полу, над потолком, во всех двенадцати дверях наверху что-то повернулось и заняло своё место, как занимает место вода в трубах. Ясна медленно опустила руку на стол, чтобы не показать, как у неё дрожат пальцы.

— Правило первое, — сказал он негромко. — До рассвета вы в этой комнате.

— А вы?

— А я иду платить.

Он вышел, и дверь за ним не закрылась.

Ясна осталась одна при свече, с бланками, с папкой и с восьмью чужими жизнями, которые ей предстояло занести в графу «наименование».

Она просидела так минут десять — неподвижно, считая до шестидесяти и обратно, — пока руки не перестали дрожать. Потом она придвинула свечу, взяла первый бланк и написала вверху, своим обычным мелким почерком:

«Опись имущества усадьбы Полночный Дом. Оценщик Приходько Ясна, третьей ступени. Начата апреля четырнадцатого дня».

Ей стало легче. Бумага всегда помогала: то, что записано, уже случилось, а со случившимся можно работать.

Она перевернула бланк, чтобы взять второй, — и остановилась.

Под её записью, на чистой половине листа, было написано ещё.

Почерк был не её. Почерк был старый: с сильным нажимом, с вычурными заглавными, таких теперь не делают — такими пишут люди, которых учили держать перо не для скорости, а для красоты. Чернила были выцветшие до рыжего. Бумага под ними не пожелтела.

Строк было три.

«Имущество: тень. Имя: Приходько Ясна».

«Основание: залог, принят в уплату. Срок: не определён».

«Примечание: поступит само».

Ясна смотрела на эти три строки очень долго.

Потом она сделала то, что сделала бы на её месте любая, — провела по ним пальцем, чтобы проверить, не померещилось ли.

Бумага была гладкая. Чернила сухие.

И тогда она перевернула весь бланк, и второй, и третий, и все двенадцать, которые лежали в папке, — и на последнем, в самом низу, тем же старым почерком была выведена одна короткая строчка, уже без графов и без числа:

«Ждали. Давно».

ГЛАВА 3

Она работала.

Это было единственное, что она умела делать, когда было страшно, и за восемь лет приёмных, больничных и гильдейских коридоров способ проверился. Страх не уходит, если его разложить по графам. Страх становится пунктом, а пункт можно оценить.

Ясна придвинула свечу и начала с того, что проверила бланки на подделку.

Бумага — гильдейская, её же, из её же пачки: она знала водяной знак на ощупь, знала, что волокно идёт поперёк, знала, где лист чуть толще у края. Бумага была настоящая. Чернила — она поднесла лист к пламени, потом капнула на уголок водой из стакана: чернила не потекли и не посветлели. Так ведут себя старые железистые чернила, которым лет двести, а не те, что сохнут час.

Записи были настоящие и очень старые.

На свежей бумаге.

Она отложила бланки, взяла чистый лист и составила таблицу в три столбца: «что известно», «что предположительно», «что проверить». В первом столбце вышло четыре строки. Во втором — одиннадцать. В третьем она написала одно слово: «хозяин».

Потом она подумала и дописала во втором: «мать».

Комната появилась в начале третьего.

Не то чтобы открылась дверь. Просто в кабинете стало на одну стену меньше, и за тем местом, где была стена, обнаружилось помещение — длинное, низкое, с одним зарешеченным окном и с запахом, который Ясна узнала сразу, хотя никогда раньше не вдыхала: так пахнет в кладовой, где много лет хранили муку, а потом вынесли всё до пылинки.

Она взяла свечу, бланки и печать и вошла.

Посередине комнаты, на голом полу, лежал человек.

Мужчина лет сорока, в кафтане покроя, который носили при жизни её прапрадеда. Лежал на спине, руки сложены на груди, глаза закрыты. Кожа была не бледная — прозрачная, как у вещи, которую слишком долго держали на свету. Сквозь щёку просвечивал край кафтанного воротника.

Ясна остановилась на пороге и очень отчётливо произнесла вслух, своим деловым голосом:

— Объект один. Состояние — не жив, не мёртв. Приступаю.

Голос её не послушался и сорвался на последнем слове.

Она села на пол рядом, положила бланк на колено и принялась делать то, что делала восемь лет: описывать.

Работа её успокоила, и это было унинительно.

Рука шла сама: «наименование — тень человеческая, мужская, возраст на момент залога около сорока лет». Она проверила кафтан — сукно настоящее, пуговицы оловянные, одна оторвана, нитка торчит. Она записала и это, потому что в описи лишнего не бывает. Она описала руки: мозоли на ладонях, значит, не барин. Описала обувь: сапоги чиненные дважды, значит, беден. Описала лицо.

На лице было то, что она видела восемь лет по вторникам и пятницам.

Она написала: «выражение отсутствует». И подчеркнула.

— Кто ты? — спросила она тихо, потому что спрашивать было больше некого.

Ответила не тень.

Отвечал дом: где-то над её головой, в перекрытии, что-то коротко скрипнуло, и на бланке, прямо под её строкой «выражение отсутствует», проступило рыжими выцветшими чернилами: «Крепостной. Долг господский. 1740».

Ясна посмотрела на потолок.

— Благодарю, — сказала она холодно. — В следующий раз дождитесь, пока я поставлю вопросительный знак.

Дом не ответил. Но ей показалось, что над головой стало чуть тише — так бывает, когда кто-то за стеной перестаёт прислушиваться.

Она дописывала графу «оценка», когда в комнату вошёл хозяин.

Он вошёл без стука — Ясна подняла голову и обнаружила, что он уже стоит в дверях, — и был он теперь без сюртука, в одной рубашке, с закатанными до локтя рукавами. Лицо у него было спокойное и чуть серое, как у человека, который только что сделал неприятную, но привычную работу.

— Вы закончили? — спросил он.

— Почти. — Ясна не встала. — Скажите, он чувствует?

— Кто?

— Вот этот. — Она кивнула на тень. — Когда я пишу «выражение отсутствует», он чувствует?

Корвин посмотрел на лежащего на полу человека и молчал дольше, чем требовалось для ответа.

— Нет, — сказал он наконец. — Он ничего не чувствует. Это и есть залог.

— А тот, кто там, в Вересне? Живой?

— Жив.

— И сколько он так?

— Сто восемьдесят шесть лет, — сказал он. — Его звали Кузьма. Он заложил себя за господский долг, потому что господин обещал отпустить его семью. — Пауза. — Господин не отпустил.

Ясна посмотрела на бланк. В графе «наименование» стояло «тень человеческая, мужская». Она вдруг почувствовала, что ненавидит свой собственный почерк.

— Имя, — сказала она.

— Что?

— В графе «наименование» должно быть имя. — Она стёрла написанное ногтем, размазала чернила и вывела заново, крупно и неровно: «Кузьма, крепостной, 1740». — Так правильнее.

— Так не по уставу.

— Устав писали те, кто сюда не приезжал. — Она обмакнула перо. — А я приезжала.

Он ничего не сказал. Он смотрел на неё сверху вниз, и в лице у него происходило то же, что происходило вечером в кабинете: что-то сдвигалось за неподвижностью, как сдвигается под льдом вода.

— Госпожа Приходько, — сказал он. — Вы делаете ошибку.

— Какую?

— Вы начинаете их считать людьми.

Ясна подняла на него глаза.

— Я начинаю их считать правильно, — сказала она. — А вы мне мешаете.

Он мешал всю ночь.

Не грубо и не явно — он вообще ничего не делал явно. Он просто подавал ей не те бумаги.

Когда она попросила прежнюю опись дома, он вынес ей три тома, и в первых двух оказались чистые листы, а третий был на языке, которого она не знала. Когда она спросила, кто составлял опись до неё, он назвал шесть имён и ни разу не повторил ни одно дважды. Когда она попросила свечу поярче, он принёс свечу, которая коптила.

Ясна не спорила. Она записывала.

К четырём часам у неё была готова первая опись — четыре страницы убористого текста, схема комнаты, перечень всего, что в ней находилось, включая пыль на подоконнике, — и примечание на полях, которое она сделала для себя и которое потом, много позже, спасло ей жизнь:

«Хозяин врёт не словами. Он врёт порядком. Следить за порядком».

Она перечитала написанное, поставила внизу дату и взяла печать.

Печать у оценщика третья ступени одна, и носить её положено на шнурке под одеждой: маленькая, латунная, с гильдейским знаком и личным номером. Ясна носила её восемь лет и ставила ею тысячи оттисков — на амбарах, на мельницах, на лодочных сараях.

Она прижала печать к воску.

И комната изменилась.

Не сильно. Так меняется лицо человека, когда он перестаёт притворяться спящим.

Воздух стал плотнее. Запах муки исчез, и вместо него пришёл другой — тёплый, живой, пахнувший потом, сеном и почему-то репой. Решётка на окне на секунду стала настоящей: Ясна увидела на прутьях ржавчину там, где раньше ржавчины не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.